

# Глава 3. ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Первое письмо родным Михаил написал на пароходе, следовавшем в Гамбург:

“ «Вот я и на открытом море, — уже два дня, как не видно берегов. В продолжение всего нашего плавания был противный ветер, даже маленькая буря. Почти всех укачало, исключая меня и еще двух пассажиров. Я почти не сходил с палубы и не спускал глаз с величественного, для меня совершенно нового зрелища. Вчера погода утихла, небо было ясно, и я видел захождение солнца, восхождение луны вчера вечером, а сегодня восхождение солнца. Наконец-то я увидел настоящее безграничное море и никогда не позабуду его. <...> Да, милые, добрые друзья, все глупое, пошлое и мелочное, все это исчезло из моей памяти; осталось только существенное, только то, что действительно входило в мое развитие, в мою внутреннюю жизнь. Как часто я думал об вас, как желал вашего присутствия, для того чтобы передать вам чувство невыразимого восторга, наполнявшего душу мою. Да, друзья, наша взаимная неразрывная любовь есть наше общее, драгоценнейшее сокровище; в ней чувствую я себя дома, в ней все для меня понятно, в ней не боюсь я глупых недоразумений, не боюсь предаться свободному течению своей жизни, которое может иногда заблуждаться, но которое никогда не теряет из виду истины, — своей единственной цели и своего единственного назначения. Покамест прощайте, иду на палубу смотреть на остров Борнгольм. “Законы осуждают предмет моей любви”. Танюша, это к тебе относится. Милая, хорошая девочка, пиши мне скорее и люби меня по-прежнему. А ты, милая Ксандра (Александра. — В. Д.), не забывай своего обещания, я с тобой был откровенен, плати мне тем же...»

Варваре, которая в это время находилась в Италии, Михаил и описал свой отъезд из России, обстановку и настроения в Прямухине:

“ «Ты не можешь себе вообразить, как грустно мне было расставаться с Прямухином. Маменька осталась та же — ein Naturkind, etwas durch eine falsche Erziehung verdorben (дитя природы, несколько испорченное

фальшивым воспитанием. — В. Д.); иногда добра, иногда очень сердита, капризна, несправедлива, привязчива; манерами, словами и поступками своими беспрестанно оскорбляет эстетическое чувство; совершенное отсутствие женственности. Впрочем она любит нас, я в этом убедился при расставании. Но папенька совершенно изменился. Он стал так мягок, кроток, снисходителен: святой старик. В последнее время он был так грустен, ему было так грустно расставаться со мною, что я готов бы был остаться, если б не был убежден, что, оставшись, я буду в тягость и себе самому и всему семейству. Сестер ты знаешь, и потому мне нечего говорить тебе о них; разница только та, что после твоего отъезда и после кончины Любаши они почти совсем утратили ясность духа; они почти всегда грустны, бедные девочки, им тяжело жить на свете...»

Не забывал он и о сестрах Беер. В одном из писем к ним, в частности, рассказал им о своем последнем свидании и прощании с Белинским: «<...>Виделся несколько раз с Белинским; последнее свидание наше вполне убедило меня в том, что мы совершенно разошлись с ним. Было время, когда мы могли понимать друг друга, когда в наших существованиях было что-то единое, нераздельное; теперь же мы потеряли друг друга из созерцания; мы идем совершенно противоположными путями. Не знаю, как он обо мне думает, но я никогда не перестану думать и быть уверенным, что при всем его внешнем цинизме и несмотря на совершенно ложное направление, которому он теперь следует, в нем много глубокого, святого. Мне грустно за него, потому что он глубоко страдает; он — мученик обстоятельств и своего ложного направления. В данный момент это — неудавшаяся жизнь; но наступит время, я в этом вполне уверен, когда он найдет осуществление более полное и более отвечающее его глубокой натуре»[7].

Дальнейшая переписка продолжалась в том же духе, пока Михаила не захлестнул водоворот революционных событий, завершившийся арестом, тюрьмами и ссылкой. Письма к собственным сестрам и сестрам Беер по-прежнему изобиловали философскими рассуждениями. Но в отдельном достаточно сдержанном письме к Александрине Беер он все же приглашает приехать ее в Берлин и поселиться вместе с ним или где-то совсем рядом:

“ «Милая Александра, скажу Вам только несколько слов, ибо как же Вы хотите, чтобы я много Вам сказал в настоящее время, когда мы оба нуждаемся в новом ознакомлении друг с другом, для того чтобы иметь возможность действительно разговаривать? Приезжайте-ка сюда, заключим новое знакомство, станем изучать друг друга, каковы мы в действительности, и я надеюсь, я уверен, что тогда наши отношения станут истиною. Я приглашаю Вас сюда потому, что в противном случае мы рискуем, пожалуй, никогда больше не свидеться. Ибо, видите ли, Александра, я не только не возвысился вместе с вами до той

действительности, которую все вы так кичитесь, но и стал больше чем когда-либо идеалистом, и у меня осталось только два-три месяца обеспеченного существования, я стараюсь наполнить их согласно моим идеям и верованиям, а об остальном не забочусь. В переживаемое нами время нужно быть последовательным и верным своим убеждениям вплоть до риска своей головой, потому что эта последовательность и эта верность составляют единственную охрану нашего достоинства. Очень трудно быть последовательным, но позорно не быть таковым. Итак, как сказала бы Наталья, которая не должна воображать, будто мое молчание равносильно забвению, я всегда остаюсь верным, я Вам уже это сказал, и это — не фраза, — итак, плыви, мой чёлн... Ваш М. Бакунин».

Однако воссоединение Михаила и Александрины (его каждый из них желал по-своему) так и не состоялось. Писать ей и ее сестре он стал все реже и реже. К тому же со временем Михаил узнал о начавшемся романе (несмотря на разницу в возрасте) между Александриной и его братом Павлом. Младший брат был настолько привязан к старшему, что после отъезда того из России у Павла — в то время уже студента юридического факультета Московского университета — произошло нервное расстройство, потребовавшее серьезного лечения и постоянного врачебного наблюдения. Лучшим лекарством для Павла оказалась поездка к брату в Берлин.

Павел прожил у Михаила более года, повсюду следовал за ним, по-настоящему подружился с Тургеневым. Их совместная жизнь мало чем отличалась от тогдашнего времяпрепровождения «золотой молодежи»: театры и музыкальные салоны, философские и литературные студии, читальни и библиотеки, поэтические декламации и пение, вечеринки и мальчишники, барышни и дамы, кабачки и рейнвейн, карточная игра и курение глиняных трубок, загородные прогулки и общение с немцами для совершенствования языка.

Осенью 1842 года сестра Варвара с сыном уехали в Россию, где вскоре Варвара вернулась к своему мужу Н. Н. Дьякову. А с отъездом Павла оборвались последние живые ниточки, связывавшие Михаила с Прямухиным. Особенно сильно он тосковал по брату. В письме к родным из Дрездена от 4 ноября 1842 года он пишет, не скрывая и не стесняясь слез: «Паша и Тургенев уехали. <...> Простившись с ними, я еще раз — да, в последний раз — простился с вами, с Прямухиным, с Россией, со всем прошедшим. Паша был для меня последним отголоском моего родного, милого прямухинского мира. Этот отголосок замолк; его и вас нет более подле меня. Прощайте, прощайте. Меня окружают только чужие лица, я слышу только чужие звуки; замолк родной голос. Да, я не знал, что я так люблю его, я не знал, что я еще так к вам привязан. Пишу вам да плачу, плачу как ребенок. Это — слабость, но я не стану скрывать ее от вас; я так давно не мог говорить с вами. Отъезд Павла разрушил кору, покрывавшую мое сердце, я опять чувствую вас в себе, чувствую для того, чтобы в последний раз, навсегда с вами проститься. Да, я хочу говорить теперь — может быть, это мое последнее слово к вам, может быть, завтра, послезавтра сердце мое снова почерствеет и я не буду в силах вызвать из него живого звука. Мне нужно было остаться совершенно одному, чтобы плакать; прежде я не знал, что такое слезы. Только уезжая из Казицина (в 1828 году. — В. Д.), плакал я, как теперь плачу. Да, я уверен, это — мои последние слезы,

мне нечего более терять. Я все потерял, со всем простился, — прощайте, друзья, прощайте».

С сестрами Татьяной и Александрой Михаил обменивался новостями и впечатлениями от прочитанных книг. Так, он настоятельно рекомендует сестрам по возможности знакомиться с романами Жорж Санд (или Занд, как тогда писали): «<...> Целое утро читал я Жорж Занд “Лелия”; это — мой любимый автор, я с ним больше не расстаюсь. Каждый раз, когда я читаю ее произведения, я становлюсь лучше, моя вера укрепляется и расширяется. Я нахожу себя здесь во все моменты. Ни один поэт, ни один философ не симпатичен мне так, как она. Ни один не выразил так хорошо мои собственные мысли, мои чувства и мои запросы. Читайте ее, мои добрые друзья. Так как мы — одного закала, так как наши стремления во всем тождественны, вы должны будете испытать то же самое, и одним связующим нас звеном прибавится больше. Для меня чтение Жорж Занд — это как бы культ, как бы молитва. Она обладает способностью открывать мне глаза на все мои недостатки, на все слабости моего сердца, не удручая и не подавляя меня. Наоборот, она при этом пробуждает во мне чувство достоинства, показывая наличие во мне сил и средств, каких я до того сам в себе не создавал. Жорж Занд — не просто поэт, но и пророк, приносящий откровение».

В письмах Михаил спрашивает сестер, что нового опубликовали за это время Лермонтов и Гоголь. Последний находился за границей, и однажды их пути случайно пересеклись. Бакунин использовал любую возможность познакомиться с другими городами Германии. Однажды в начале сентября 1841 года во время очередной поездки в Дрезден Михаилу довелось ехать в одном дилижансе с Гоголем, путешествовавшим тогда по немецким землям. Упоминание об этой встрече сохранилось лишь в одном из писем Гоголя: оказывается, он уже тогда имел о своем соседе по дилижансу в общем-то не лестное мнение (быть может, оно сложилось благодаря кому-то из окружения Белинского).

Бакунин появился в стенах Берлинского университета с намерением как вольнослушатель освоить традиционный университетский курс и записаться на лекции к Шеллингу. По существовавшей традиции профессор предварительно знакомился со всеми записавшимися к нему на лекции. Встреча патриарха немецкой философии и его недавнего адепта состоялась в октябре 1841 года. Михаил передал корифею немецкого идеализма привет (или, как тогда выражались, поклон) от их общей знакомой Авдотьи Петровны Елагиной (громкая слава ее салона давно уже переступила границы России). В письме к родным Мишель подробно рассказывает о своей получасовой беседе с Шеллингом:

«Он пригласил меня приходить к нему, и я постараюсь поближе познакомиться с ним. Он почти не похож на свой портрет — маленького роста, но глаза у него чудесные. Говорят, что дочь его прекрасна собою, с глубоким выражением в лице. Ай, ай, ай, я, может быть, влюблюсь в нее, — и тем опаснее, что я слышал о ней от русских, от Елагиных, а не от немцев, которые готовы назвать *wunderschönes Mädchen* (прекраснейшей девушкой. — В. Д.) уроды. Вы не можете вообразить себе, с каким нетерпением я жду лекций Шеллинга. В продолжение лета я много читал его и нашел в нем такую неизмеримую глубину жизни, творческого мышления, что уверен, он и теперь откроет нам много глубокого. Четверг, то есть завтра, он начинает. Через несколько времени напишу вам об нем...»

Но время Шеллинга прошло. Еще каких-нибудь пять лет назад одно его имя вызывало трепет, а теперь многие с полным равнодушием взирали на сутулого профессора, вещавшего с кафедры об абстрактных проблемах мифологии, религии и божественного откровения. Теперь сердца большинства слушателей принадлежали Гегелю и вознесенной им на недостижимую высоту вечно живой диалектике. В лекционном зале были и такие, кто с откровенной насмешкой взирали на убеленного сединами мэтра, отрастившего длинные волосы, что делало его совершенно непохожим на известные до сих пор портреты. Рассказывали, что один из слушателей — по имени Фридрих Энгельс — однажды даже покинул аудиторию, демонстративно хлопнув дверью.

Да, Шеллинг был давно пройденным этапом, спустя некоторое время Бакунину даже нечего было написать о нем друзьям в Россию. Сестрам же о прослушанных лекциях своего недавнего кумира он сообщил более чем сдержанно всего несколько слов: «Очень интересно, но довольно незначительно, ничего говорящего сердцу». Зато с огромным воодушевлением готов был теперь Михаил обсуждать идеи своих новых друзей — младогегельянцев, поставивших целью связать теоретические выводы своего истинного учителя с реальной жизнью и насущными политическими проблемами, ждущими своего решения и в первую очередь в самой Германии. Двадцативосьмилетний русский младогегельянец давно уже ощущал тесноту сюртука, скроенного из пустых категорий и абстракций, кои невозможно было спроецировать на реальную жизнь или применить на практике.

В Германии Бакунин завязал множество знакомств, сыгравших в дальнейшем значительную роль в его жизни. Одно из них оказалось судьбоносным для отечественной истории и культуры. Тургенев! Как и Бакунин, он приехал в Берлин изучать немецкую философию, мечтая получить степень магистра. И первое, что сделал будущий великий писатель, добравшись до столицы тогдашней Пруссии, купил все имевшиеся в наличии тома из собрания сочинений Гегеля. Хорошее, ничего не скажешь, начало для автора «Записок охотника» и «Отцов и детей»! В Бакунине Тургенев нашел то, что давно искал. Вот что он писал Михаилу из Мариенбада 27–29 августа (8–10 сентября) 1840 года:

«Я приехал в Берлин, предался науке — первые звезды зажглись на моем небе — и, наконец, я узнал тебя, Бакунин. Нас соединил Станкевич — и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан — я едва ли могу сказать — и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтобы вылиться в слова. Покой, которым я теперь наслаждаюсь — быть может, мне необходим; из моей кельи гляжу я назад и погружен в тихое созерцание: я вижу человека, идущего сперва с робостью, потом с верой и радостью по скату высокой горы, венчанной вечным светом; с ним идет товарищ, и они спешат вперед, опираясь друг на друга, а с неба светит ему тихая луна, прекрасное — знакомое — и незнакомое явление: ему отрадно и легко, и он верит в достижение цели. <...>

Michel! нам надо будет заняться древними языками. Нам надо будет работать, усердно работать в течение зимы. Я надеюсь, мы проведем ее прекрасно. Университет, занятия, — а вечером будем сходить к твоей сестре, ходить слушать хорошую музыку, составим чтения; Вердер будет к нам приходить. Постой, дай перечесть, сколько месяцев наслаждения — с 1 октября по 1 мая — 7 месяцев, 210 дней! Весной я должен ехать в

Россию — непременно. Но осенью я снова возвращусь. Ты дай мне письма к своим: как я желаю хоть видеть их. Скажи им обо мне как о человеке, который тебя любит; больше ничего. Ты не поверишь, как я счастлив, что могу говорить тебе — ты. У меня на заглавном листе моей энциклопедии написано: “Станкевич скончался 21 июня 1840 г.”, а ниже: “я познакомился с Бакуниным 20 июля 1840 г.”. Из всей моей прежней жизни я не хочу вынести других воспоминаний. У меня всего было 2 друга — и первого звали Michel. Он умер; мы с ним вместе росли, вместе дожили до 18 лет — и он умер. Но ты будешь жить — и я буду жить и, может быть, оба — не даром. Прощай».

Огромную роль в философском и политическом становлении Бакунина сыграли знакомство и сотрудничество с лидером немецких леворадикалов и младогегельянцев Арнольдом Руге (1802–1880). 22 октября (3 ноября) 1841 года Михаил пишет родным: «Я познакомился в Дрездене с доктором Руге, издателем *Deutsche* (прежде они назывались *Hallische*) *Jahrbücher*. Он — интересный, замечательный человек, замечателен более как журналист, как человек необыкновенно твердой воли... Он без всякого исключения враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического. Разумеется, что вследствие этого он впадает в большие односторонности во всем, что касается религии, искусства и философии. Но во многих других отношениях эта односторонность и абстрактное направление его приносят немцам большую пользу, вырывая их из гнилой, золотой и неподвижной середины, в которой они так давно покоятся».

Руге издавал гремевший по всей Германии и Европе оппозиционный журнал с невиннейшим на первый взгляд названием — «*Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst*» («Немецкие ежегодники науки и искусства». — В. Д.). Не слишком выдающийся философ, зато блестящий публицист и, главное, организатор, не страдавший к тому же завышенными личными амбициями, Руге сумел привлечь на свою сторону лучших теоретиков и оппозиционных общественных деятелей — Бруно Бауэра, Людвиг Фейербаха, Карла Маркса, Фридриха Энгельса и в дальнейшем — Михаила Бакунина, осенью 1842 года написавшего для журнала ставшую, как оказалось, программной статью «Реакция в Германии (Очерк француза)». Публикации было предпослано предупреждение редакции: «Мы даем не просто замечательную вещь; это новый значительный факт. Дилетантов и несамостоятельных последователей вроде Кузена и других немецкая философия уже и раньше производила за границу, но людей, философски переросших немецких философов и политиков, до сих пор в наших пределах не встречалось. Таким образом, за граница срывает с нас теоретический венец». Сама статья начиналась с любимой бакунинской темы — СВОБОДЫ:

«Свобода, реализация свободы, кто станет отрицать, что сейчас эти слова стоят на первом месте в порядке дня истории? И друг и недруг признают и должны это признать; да, никто не решится дерзко и открыто объявить себя врагом свободы. Однако слово, признание, как известно еще из Евангелия, сами по себе ничего не значат, ибо, к сожалению, до сих пор людей немало, которые в действительности, в глубине своего сердца не верят в свободу. Уже в интересах самого дела стоит познакомиться также и с этими людьми, ибо по природе своей они отнюдь не одинаковы».

Далее Бакунин в духе классического политического памфлета дает блестящий анализ тогдашней европейской жизни и общественных сил накануне ожидаемой всеми буржуазной революции, призванной смести отжившие формы и институты (и прежде всего — монархические), мешающие дальнейшему развитию крупнейших стран Европы. Никто не брался предсказать, когда произойдут революционные события; подобно гигантской волне, они захлестнут европейский континент лишь спустя пять лет. Бакунин предвещает революционное обновление Европы лишь в самом общем виде, выражая надежду, что очистительный «девятый вал» докатится в конце концов и до России:

«<...> Вокруг нас появляются признаки, возвещающие нам, что дух, этот старый крот, уже почти закончил свою подземную работу и что скоро он явится вновь, чтобы вершить свой суд. Повсюду, особенно во Франции и в Англии, образуются социалистически-религиозные союзы, которые, оставаясь совершенно чуждыми современному политическому миру, почерпают свою жизнь из совершенно новых, нам неизвестных источников и развиваются и расширяются в тиши. Народ, бедный класс, составляющий, без сомнения, большинство человечества, класс, права которого уже признаны теоретически, но который до сих пор по своему происхождению и положению осужден на неимущее состояние, на невежество, а потому и на фактическое рабство, — этот класс, который, собственно, и есть настоящий народ, принимает везде угрожающую позу, начинает подсчитывать слабые по сравнению с ним ряды своих врагов и требовать практического приложения своих прав, уже всеми признанных за ним. Все народы и все люди исполнены каких-то предчувствий, и всякий, чьи жизненные органы еще не парализованы, смотрит с трепетным ожиданием навстречу приближающемуся будущему, которое произнесет слово освобождения. Даже в России, в этом беспредельном, покрытом снегами царстве, которое мы так мало знаем и которому, может быть, предстоит великая будущность, — даже в России собираются мрачные, предвещающие грозу тучи! О, воздух душен, он чреват бурями!»

Заканчивалась статья, подписанная псевдонимом Жюль Элизар, призывом, без цитирования которого с тех пор не обходятся ни одна работа о Бакунине и хрестоматия по истории отечественной мысли: «Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно созидающий источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!»

Цитируется, однако, как правило, только последнее предложение. И всю принципиальную позицию Бакунина тоже обычно сводят только к этому последнему тезису, именно с данной точки рассматривая бакунинский анархизм, как абсолютное, голое, «зряшное», говоря словами Гегеля, ОТРИЦАНИЕ. Но ведь это полнейшее искажение и извращение мысли Бакунина! Даже из приведенного завершающего фрагмента статьи видно невооруженным глазом, что у Бакунина речь идет о разрушении как о начальном этапе СОЗИДАНИЯ! И страсть к разрушению как творческая страсть объявлена здесь вечно созидающим источником всякой жизни! Одним словом, разрушение ради созидания, а не разрушение ради разрушения! (Подобная же фальсификация, приписывание того, чего у него нет, и обвинение в том, чего он никогда не говорил и даже в мыслях не имел, одним словом, тотальные искажения и извращения — причем гораздо худшего порядка и гораздо большего масштаба — не только в отношении данной статьи, а касающиеся принципиальной позиции Бакунина по большинству теоретических и политических вопросов — сопровождали его в

дальнейшем до самой смерти и не исчезли и после нее.) И вообще — пресловутая бакунинская «страсть к разрушению» никогда не означала взрывы и поджоги домов, фабрик, заводов, шахт, дамб или пускание под откос локомотивов, потопление пароходов и т. п. Для Бакунина «разрушение» означало прежде всего слом отживших свой век государственной системы и общественных отношений. Единственно, что «апостол разрушения» предлагал уничтожить в прямом смысле (хотя бы и взорвать) — это тюрьмы.

Собственно, ничего нового Бакунин не открыл — он просто бессознательно актуализировал старую как мир евангельскую истину: я разрушу храм и воздвигну другой (Марк. 14, 58), обычно она в сокращенно-афористической форме цитируется по-латыни: «Destruam et aedifiabo» — «Разрушу и воздвигну».

Тем не менее статья Бакунина произвела ошеломляющее впечатление на большинство читателей журнала как в Европе, так и в России. Герцен, даже не подозревая, кто стоит за псевдонимом Жюль Элизар, записал в своем дневнике: «В одном из последних номеров («Немецких ежегодников». — В. Д.) была статья француза о современном духе реакции в Германии. Художественно превосходная статья. (Последняя оценка особенно лестна в устах блестящего литератора Герцена, которого Лев Толстой считал — и не без оснований! — лучшим беллетристом России. — В. Д.) И это чуть ли не первый француз... <...> понявший Гегеля и германское мышление. Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием симпатий в настоящем и всего мира в будущем». Можно представить удивление и радость Герцена, когда он узнал, кто скрывается за французским псевдонимом!

Вскоре о статье, о ее высокой оценке в европейской прессе и авторстве Бакунина узнал Чаадаев, внимательно следивший (насколько это позволяло его поднадзорное положение) за всеми европейскими философскими новинками. Столкнувшись с В. Г. Белинским, он не преминул сообщить ему, что немцы признали Бакунина первым знатоком своей высокоумной философии. Белинский писал по данному поводу сблизившемуся с ним Николаю Бакунину, учившемуся тогда в том же самом артиллерийском училище, что и некогда Михаил: «До меня дошли хорошие слухи о Мишеле, и я написал к нему. <...> Вы... <...> всегда желали и надеялись, что мы вновь сойдемся с Мишелем: ваше желание исполнилось. <...> Мы, я и Мишель, искали Бога по разным путям — и сошлись в одном храме. <...> Мишель во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки: это — вечно движущееся начало, лежащее во глубине его духа».

В самом деле, даже на фоне других незаурядных публикаций «Немецких ежегодников» статья Бакунина выглядела настоящим перлом. Об этом и спустя четверть века говорил постаревший Арнольд Руге, проживавший в эмиграции в Лондоне, давно сменивший свои радикальные взгляды на поддержку политики Бисмарка и откликнувшийся на смерть Бакунина некрологом-воспоминанием, напечатанным в двух номерах немецкой эмигрантской газеты. Вкратце излагая основные идеи и выводы бакунинской статьи, Руге резонно отмечает, что она «содержит в себе весь характер Бакунина и дальнейшее развитие его мышления до социал-демократического включительно». 74-летний Руге и по прошествии стольких лет не переставал удивляться блестящему философскому языку давней-предавней статьи, как будто он познакомился с ней только что: «Когда мы ее читаем



теперь и объясняем при помощи великих событий нашего времени, статья эта приводит нас невольно в изумление. <...> Мало сказать, что Бакунин имел немецкое образование; он был в состоянии философски намылить голову немецким философам и политикам и предсказать будущность, которую они добровольно или нет вызывали. <...> Я привел в доказательство этого некоторые места из замечательной маленькой статьи. Она заслуживает быть целиком заново прочтенной, и меня не удивляет, что некоторые посвященные, которым не чужды эливинские таинства бессмертной логики греков и немцев, вспоминают пророчески меткие слова Жюля Элизара [Михаила Бакунина] из “Deutsche Jahrbücher”. <...>».

В конечном счете в и без того радикальном младогегельянском течении Бакунин оказался самым левым на левом фланге. Кроме того, в нем пробуждался революционный практик. Младогегельянцы «трубной громогласности»[8] в основной массе своей оставались кабинетными учеными. Когда же дело доходило до реализации их идей на практике, грозные диалектики становились беспомощней малых детей. Большинство из них были мастаками совершать революцию в умах и теоретических дискуссиях. Когда же в воздухе запахло порохом и Европу захлестнула настоящая революция, на баррикадах из всех корифеев младогегельянского движения (за исключением разве что рыжебородого Энгельса) был замечен лишь один русский Бакунин со своей знаменитой «львиной» гривой. И к смертной казни приговаривали дважды опять-таки одного Михаила Бакунина: в первый раз — к расстрелу, второй — к повешению...

\* \* \*

Появление статьи в «Немецких ежегодниках», которое само по себе стало значительным событием в жизни русского революционера, совпало с другой поворотной точкой в его судьбе: Бакунин решил никогда более не возвращаться в Россию. В письме брату Николаю так объяснил свое решение:

«<...> После долгого размышления и по причинам, которые объяснит тебе Тургенев, я решил никогда не возвращаться в Россию. Не думаю, чтобы это было легкомысленное решение; оно связано с внутреннейшим смыслом всей моей прошедшей и настоящей жизни. Это моя судьба, жребий, которому я противиться не могу, не должен и не хочу. Не думай также, что мне было легко решиться на это, — отказаться навсегда от отечества, от вас, от всего, что я только до сих пор любил. Никогда я так глубоко не чувствовал, какими нитями я связан с Россией и со всеми вами, как теперь, — и никогда так живо не представлялась мне одинокая, грустная и трудная будущность, вероятно, ожидающая меня впереди на чужбине. И несмотря на это я безвозвратно решился. Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы. Одним словом, худо ли, хорошо ли, но я решился и не перемену своего решения.

И вы, друзья, не забывайте меня. Мне будет очень грустно одному. <...> Иногда мне становится страшно — все так пусто и безотраднo впереди, я буду один, без работы, может быть, даже и без всякого живого участия, но не бойтесь за меня, друзья, — я ведь русский человек и не позабыл слова “авось”, не бойтесь за меня — рано или поздно это должно было

случиться. А вы знаете: “чему быть, того не миновать”... Не бойтесь за меня, потому что у меня есть дело, которое я люблю, которому я предан всей полнотой своего существования. Я до сих пор ни разу не изменил ему. Вся моя жизнь, все мои поступки, как бы они нелепы ни показались другим, были необходимыми ступенями моего приобщения к нему. И теперь также останусь я себе верным, и что бы там ни случилось, никогда не откажусь от того, что я считаю своим призванием».

Кроме того, Михаил, безусловно, понимал, что в России его ждет неприятный диалог с властями, и сие общение, более чем вероятно, завершится неправым судом и скорой расправой. Активная деятельность Бакунина и особенно его статья «Реакция в Германии» не остались без внимания бдительных немецких спецслужб, и он был взят под наблюдение прусской полицией. Еще раньше обнаружилась слежка, которую нельзя было квалифицировать иначе, как «привет» от русских тайных агентов и спецслужб, опекавших «засветившихся» соотечественников по всей Европе. Не желая испытывать судьбу, Бакунин решил перебраться в Швейцарию, что он и сделал вместе со своим новым другом Георгом Гервегом (1817–1875), сыгравшим впоследствии роковую роль в жизни Александра Герцена. Бакунин познакомился с Гервегом во время одной из поездок в Дрезден. Теперь же поэт, завоевавший популярность на родине смелыми революционными стихами на злобу дня, моментально становившимися народными песнями, и высланный за это в Швейцарию, наслаждался вместе с русским другом Мишелем относительной свободой и независимостью, коими традиционно славилась альпийская республика. Гервег имел «шарм», какой бывает у многих молодых поэтов, и пользовался колоссальным успехом у женщин.

Друзья поселились в одной квартире, где вскоре почти что ежедневно стал собираться полуинтеллектуальный-полубогемный кружок таких же наслаждавшихся радостями свободной жизни молодых людей и бравшими от нее все, что только можно. Шум, гам, бурное веселье, легкое вино, чтение стихов, музицирование, танцы, симпатичные и не слишком обремененные условностями красотки — что еще нужно холостым мужчинам в их возрасте? Однако к Гервегу вскоре приехала его невеста Эмма Зигмунд. Она была дочерью и богатой наследницей еврейского банкира и, став женой Гервега, сразу же взяла безденежного мужа на полное содержание. Хотя у Михаила с Эммой еще раньше сложились теплые, дружеские и достаточно неформальные отношения, все же ему пришлось искать себе другое пристанище. О своем житье-бытье в это время Михаил полушутя рассказал в письме к брату Павлу:

«Я живу здесь очень одиноко, нанял себе маленькую квартиру на самом берегу Цюрихского озера, передо мною все озеро и горы, вечно покрытые снегом. Вот тебе расположение моей комнаты:

- a) печка, хорошая, теплая,
- b) шкаф с книгами,
- c) два окна большие высокие, с двойными рамами, друг подле друга, так что почти составляют одно окно,
- d) диван, хороший, широкий, длинный и мягкий, с подушками, у самого окна,
- e) стол круглый у дивана,
- f) бюро,

g) стол,

k) Zürichberg (гора, видимая из окна. — В. Д.).

Иногда я лежу по целым часам на диване и смотрю на озеро, на горы, которые особенно прекрасны при заходящем солнце, следуя за маленькими изменениями этой картины, — а эти изменения непрерывны, — и думаю, думаю обо всем: и грустно, и весело, и смешно, и впереди все покрыто туманом...»

Между тем Михаилу, помимо философских и нефилософских размышлений, постоянно не давала покоя весьма прозаическая, но исключительно неприятная проблема — долги. Его финансовые дела всегда были неупорядочены. Деньги (разумеется, когда они были) он тратил быстро и без оглядки, охотно делился последним рублем (маркой, франком, талером и т. д.) с любым нуждающимся. Должен он был почти всегда и почти что всем. Швейцария не спасала от кредиторов, и летом 1843 года Бакунин оказался перед перспективой долговой тюрьмы: необходимо было выплатить хотя бы 3 тысячи талеров в счет более серьезного долга, висевшего над ним как дамоклов меч. Из дома нерегулярно поступали мизерные суммы. Тургенев, взявший поначалу на себя обязательство выплачивать Бакунину ежегодный пенсион в тысячу талеров, сам находился в затруднительном положении. Руге уже неоднократно выручал Бакунина. В отчаянии Михаил написал брату Павлу, чтобы он уговорил отца продать часть имения и таким образом спасти старшего сына от позора (другой вариант — заложить имение тетушки Анны Михайловны). Но родовое имение давным-давно было заложено, и Бакунин-старший с трудом находил деньги для выплаты ежегодных процентов.



Между тем философско-политический интерес Бакунина переместился в совершенно иную плоскость и оказался связанным с широко распространенным течением и учением — коммунизмом, призрак которого, как хорошо известно из другого первоисточника, уже давно бродил по Европе. Однако Михаил столкнулся с ним в лице вполне живого человека — портного Вильгельма Вейтлинга (1808–1871), чьи идеи пользовались все большей популярностью в Германии и немецкоговорящей части Швейцарии. Прежде всего Бакунин в один присест проглотил книгу немецкого коммуниста «Гарантии гармонии и свободы» (на ее издание четверо рабочих, друзей Вейтлинга, отдали все свои сбережения). В январе 1843 года он писал Арнольду Руге из Цюриха:

«Недавно вышло новое, первое немецкое коммунистическое сочинение некоего портного Вейтлинга (“Гарантии свободы и гармонии” Вильгельма Вейтлинга. Веве, декабрь 1842 года). Этот Вейтлинг очень беден, а так как никаких иных средств у него не было, то ему пришлось самому, то есть собственноручно, напечатать свою книгу. Это — действительно замечательная книга. Правда, вторая, органическая ее часть сильно пострадала благодаря односторонним, произвольным построениям, но первая, дающая критику современного положения, проникнута жизнью, а часто содержит верные и глубокие мысли. Чувствуется, что она написана на основании практического осознания современности; даже теоретические конструкции интересны, так как они представляют собой не продукт

умеренной, интеллигентской теории, а выражение стремящейся возвыситься до сознания новой практики. Читая эту книгу, ощущаешь, что Вейтлинг высказывает именно то, что действительно чувствует и в качестве пролетария думает и должен думать. И это чрезвычайно интересно, можно даже сказать, самое интересное в наше время. Иногда он выражается весьма энергично:

<...> “И вот, читатель, если ты найдешь в этой книге истины, то возмись за их распространение, ибо нельзя терять времени. Миллионы несчастных созданий вопиют к Богу о помощи. Налогами и милостынею, законами и карами, прошениями и религиозными утешениями здесь горю не поможешь. Старое зло въелось слишком глубоко. Разрыв между добром и злом должен быть произведен путем катастрофы. Она не преминет разразиться, если каждый по мере сил будет стараться ее подготовить”. <...> Если бы я вздумал выписать Вам все, что мне понравилось в этой книге, то мне не достало бы места. Вероятно, Вы эту книгу сами прочтете. Я непременно хочу познакомиться с этим Вейтлингом. <...>».

Эмигрант Вейтлинг в это время проживал в Цюрихе, и встретиться с ним не представляло никакого труда. Более того, Вейтлинг сам зашел к Бакунину. Позже он так рассказывал об этом эпизоде: «Гервег, находясь уже в Арговийском кантоне, прислал ко мне, с рекомендательною запискою, коммуниста портного Вейтлинга, который, отправляясь из Лозанны в Цюрих, по дороге зашел к нему, для того чтобы с ним познакомиться; Гервег же, зная, как меня интересовали тогда социальные вопросы, рекомендовал его мне. Я был рад этому случаю узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился; он человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность поработенного большинства. Он, впрочем, не долго сохранил сии качества, испортившись скоро потом в обществе коммунистов-литераторов; но тогда он пришелся мне очень по сердцу; я так был перекормлен приторною беседою мелкохарактерных немецких профессоров и литераторов, что рад был встретить человека свежего, простого и необразованного, но энергического и верующего. Я просил его посещать меня; он приходил ко мне довольно часто, излагая мне свою теорию и рассказывая много о французских коммунистах, о жизни работников вообще, о их трудах, надеждах, увеселениях, а также и о немецких только что начинавшихся коммунистических обществах. Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством...»

Как и следовало ожидать, новые коммунистические идеи целиком и полностью захватили Бакунина. Уже в середине 1843 года в цюрихской газете появилась его статья на немецком языке с кратким названием — «Коммунизм». В ней Бакунин писал: «<...> Мы вполне убеждены, что коммунизм в самом себе содержит элементы, которые мы считаем в высшей степени важными, даже более чем важными: в основе его лежат священнейшие права и гуманнейшие требования; и в них-то и заключается та великая, чудесная сила, которая поразительно действует на умы. Коммунисты сами не понимают этой незримо действующей силы. Но только в ней и только благодаря ей они представляют нечто, без нее же они — ничто. Только эта сила в короткое время сделала коммунистов из ничего чем-то сильным и грозным, ибо не следует скрывать от себя: коммунизм стал теперь мировым вопросом, который ни один государственный деятель не может игнорировать, а тем более разрешать

просто силой. <...> Коммунизм нельзя упрекнуть в недостатке страсти и огня. Коммунизм — не фантом, не тень. В нем скрыты тепло и жар, которые с громадной силой рвутся к свету, пламень которого уже нельзя затушить и взрыв которого может стать опасным и даже ужасным, если привилегированный образованный класс не облегчит ему любовью и жертвами и полным признанием его всемирно-исторической миссии этот переход к свету. Коммунизм — не безжизненная тень. Он произошел из народа, а из народа никогда не может родиться тень. Народ — а под народом я понимаю большинство, широчайшую массу бедных и угнетенных, — народ, говорю я, всегда был единственной творческою почвою, из которой только и произошли все великие деяния истории, все освободительные революции. Кто чужд народу, того все дела заранее поражены проклятием. Творить, действительно творить можно только при действительном электрическом соприкосновении с народом. Христос и Лютер вышли из простого народа, и если герои французской революции могучей рукой заложили первый фундамент будущего храма свободы и равенства, то это удалось им только потому, что они возродились в бурном океане народной жизни. <...> Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается. Его протест есть могучий вердикт человечества, святое и единоспасающее единство которого до сих пор еще нарушается узким эгоизмом наций».

До опубликования другого, более известного документа, под названием «Манифест коммунистической партии», принадлежащего перу Карла Маркса и Фридриха Энгельса, оставалось шесть лет. С ними, будущими вождями Интернационала, Бакунин познакомился примерно в то же самое время, хотя о их работах и активной общественно-политической деятельности знал и раньше, ибо Арнольд Руге являлся их общим знакомым и сподвижником. Сохранилась незавершенная, но достаточно полная рукопись Бакунина, озаглавленная «Мои личные отношения с Марксом». Она написана в конце 1871 года, после разгрома Парижской коммуны, и опубликована в составе трехтомных «Материалов для биографии М. Бакунина», изданных в России в 20-х и 30-х годах XX века.

И в молодые годы, и на склоне лет Бакунин признавал, что Маркс долгое время оставался для него безусловным авторитетом. Спустя почти тридцать лет после их первой встречи Бакунин напишет: «Мы с Марксом — старые знакомцы. Я встретил его впервые в Париже в 1844 году. Я был уже эмигрантом. Мы сошлись довольно близко. Он тогда был гораздо более крайний, чем я, да и теперь он, если не более крайний, то несравненно учнее меня. Я тогда и понятия не имел в национальной (так в оригинале. — В. Д.) экономии, я еще не освободился от метафизических абстракций, и мой социализм был чисто инстинктивным. Хотя по годам и моложе моего, он уже был атеистом, ученым-материалистом и мыслящим социалистом. Как раз в это время он разрабатывал первоосновы теперешней своей системы. Мы встречались довольно часто, потому что я питал к нему большое уважение за его ученость и серьезную, страстную преданность делу пролетариата, хотя эта преданность и уживалась всегда в нем с личным честолюбием; я жадно искал бесед с ним, бесед, которые всегда были поучительны и остроумны, если только не вдохновлялись мелочной ненавистью, что, к сожалению, бывало слишком часто. Однако полной близости между нами не было никогда. Наши темпераменты не подходили друг к другу. Он называл меня сентиментальным идеалистом — и был прав; я называл его вероломным, коварным и тщеславным человеком — и тоже был прав».

Отношения между Бакуниным, Марксом и Энгельсом с самого начала их знакомства строились непросто. Очень скоро двое последних запятнают себя причастностью к оголтелой травле русского политического эмигранта, спровоцированной царскими жандармами и посольством России во Франции, распространившим клеветнические измышления о том, что русский невозвращенец якобы является тайным агентом российских спецслужб. Но и до этого Бакунин достаточно скептически оценивал Маркса и его окружение. Вот что он писал из Брюсселя в конце 1847 года Георгу Гервегу: «Многое смогу я тебе порассказать о здешнем времяпровождении. <...> Немцы же, ремесленники, <...> Маркс и Энгельс... и главным образом Маркс, сеют здесь свое обычное зло. Тщеславие, недоброжелательство, дразни, теоретическое высокомерие и практическое малодушие, рефлексирование о жизни, деятельности и простоте — и полное отсутствие жизни, дела и простоты, литераторствующие и разглагольствующие ремесленники и противное заигрывание с ними, “Фейербах — буржуа” и словечко “буржуа”, ставшее эпитетом, до тошноты надоевшим вследствие повторения, — а сами с ног до головы насквозь захолустные буржуа. Одним словом, ложь и глупость, глупость и ложь. В этом обществе нельзя дышать свободно и полной грудью. Я держусь в стороне от них и решительно заявил, что не вступлю в их коммунистический союз ремесленников и не желаю иметь с ним ничего общего».



Между тем тучи сгустились сначала над Вейтлингом, а затем и над Бакуниным. Швейцарские власти, науськанные немецкой полицией, давно искали повод расправиться с портным-самоучкой за его коммунистические убеждения и их пропаганду. Наконец подходящая причина для расправы нашлась. Вейтлинг написал книгу «Евангелие бедного грешника» и опубликовал проспект своего нового сочинения, где утверждал, что первым пропагандистом коммунистического учения был не кто иной, как Иисус Христос, отвергавший собственность и семью, а вместо смирения и всепрощения проповедовавший борьбу против насилия и право на восстание. Швейцарские церковники в лице Цюрихской духовной консистории немедленно подали в прокуратуру заявление о том, что немецкий эмигрант занимается богохульством. И в ночь с 8 на 9 июня 1843 года Вейтлинга арестовали, а все найденные при обыске у него на квартире рукописи и письма конфисковали.

По решению суда, которого один из первых немецких коммунистов дожидался в тюрьме, он был приговорен к десятимесячному заключению и принудительной высылке из «свободной» Швейцарии. При аресте Вейтлинга полиция обнаружила среди конфискованных бумаг документы, компрометирующие многих его друзей, в том числе и Бакунина. Поскольку в Цюрихе разворачивалась крупномасштабная «охота на ведьм», Бакунину пришлось срочно спасаться бегством и скрываться от вездесущих полицейских ищек. О дальнейших событиях впоследствии подробно рассказал Герцен:

«В 1843 году Бакунин, преследуемый швейцарскими реакционерами, был выдан одним из них, Блюнчли, и тотчас же получил приказание возвратиться в Россию. Блюнчли, журналист и член цюрихского правительства, во время дела коммуниста Вейтлинга скомпрометировал

множество людей. Имея в своих руках досье Вейтлинга и его друзей, он написал брошюру, в которой предал гласности то, что как должностное лицо должен был сохранять в тайне. Там не было ни одного письма к Бакунину или от него к Вейтлингу, но в какой-то записке Вейтлинг упоминал о русском социалисте Бакунине. Этого было достаточно для Блюнчли. После его доноса возвращение на родину стало невозможным; вследствие этого Бакунин отказался подчиниться императорскому приказу. Тогда царь подверг его суду своего сената; Бакунина приговорили к лишению всех прав состояния и к вечной ссылке, как только он возвратится, “за неповиновение приказу его величества и за поведение, не достойное русского офицера”».

5 октября 1843 года в канцелярию министра иностранных дел Российской империи графа Карла Васильевича Нессельроде (1780–1862) поступил доклад от секретного агента из Швейцарии о предосудительном поведении русского подданного Михаила Бакунина, замеченного в постоянных контактах с немецкими и швейцарскими коммунистами. Аналогичная информация еще раньше поступала по дипломатическим каналам из Берлина. Донесение незамедлительно было переправлено шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу (1783–1844). По его указанию началось негласное дознание о семье Бакуниных и в особенности о выехавшем за границу старшем сыне Михаиле. Политический сыск в России во все времена работал четко, как швейцарские часы. Вскоре на столе Бенкендорфа лежала обстоятельная справка о финансовом положении и настроениях в семье Бакуниных, где младшее поколение (как братья, так и сестры), по общему мнению соседей и губернских должностных лиц, отличалось ярко выраженным мечтательно-философским складом.

Распоряжение главного жандармского начальника было кратким и недвусмысленным: «К отцу. Денег не посылать, его (старшего сына. — В. Д.) вытребовать. А когда приедет — надзор». Бенкендорф глядел в корень: главное, лишить строптивного диссидента источников существования, а там вскорости и сам приползет. Старик-отец расстроился несказанно, но строгий приказ немедленно принял к исполнению, о чем тотчас же доложил в столицу в верноподданническом письме. Но вскоре шеф жандармов (возможно, по подсказке государя) решил еще сильнее закрутить гайки и обратился к графу Нессельроде с новой настоятельной просьбой — лишить Бакунина заграничного паспорта, отобрав таковой при появлении в первой же российской дипломатической миссии в любой европейской стране. Самому же отставному прапорщику Бакунину немедленно и не ссылаясь ни на какие предлоги вернуться в Россию, строго предупредив того, что в случае неисполнения указания он понесет ответственность по всей строгости закона.

Тем временем, скрываясь от швейцарской полиции и стараясь замести следы, Бакунин переезжал из одного кантона в другой. О решении царского правительства он узнал в русской дипломатической миссии в Берне, где ему предложили сдать загранпаспорт. Спасти его могла только хитрость, и Михаил заявил: дескать, паспорт забыл в гостинице, принести его сможет теперь только на следующий день, а сам выехал с первым же дилижансом в направлении границы с Германией, где для него уже повсюду были расставлены сети. По дороге известил письмом русскую дипмиссию в Берне, что неотложные дела требуют его присутствия в Лондоне, поэтому загранпаспорт он пока сдать не может. На самом деле он направлялся в Брюссель...

Игра в «кошки-мышки» не могла продолжаться до бесконечности. О вызывающем поведении и злом неподчинении Бакунина доложили царю, и Николай повелел министру юстиции подвергнуть отставного прапорщика предусмотренным законами репрессалиям. Безжалостный механизм полицейского государства заработал на полную мощь. В результате — сначала Санкт-Петербургский надворный уголовный суд и Палата уголовного суда, а затем и Правительствующий сенат своим «решительным определением» от 26 октября 1844 года заключил: «...Отставного прапорщика Михаила Александровича Бакунина... лишив чина, дворянского достоинства и всех прав состояния, в случае явки в Россию, сослать в Сибирь, в каторжные работы, а имение его, какое окажется где-либо собственно ему принадлежащим, взять... теперь же в секвестр». Решение Сената скреплено собственноручной резолюцией Николая I: «Быть по сему». В одночасье вчерашний подданный Российской империи превратился в русского изгнанника и «гражданина мира». Всем делом его оставшейся жизни отныне станет революция в любой стране, где бы он ни оказался.

Бакунин к тому времени находился уже в Париже, куда прибыл из Брюсселя. Здесь он и дал блестящую отповедь своим гонителям и преследователям, опубликованную в виде письма на имя редактора прогрессивной французской газеты «Реформа»:

«Милостивый Государь! <...> Мое личное положение очень просто. Во время моего пребывания в Германии и в Швейцарии на меня был сделан донос русскому правительству как на близкого друга некоторых немецких публицистов, принадлежащих к радикальной партии, как на автора некоторых журнальных статей, особенно как на приверженца польской нации, столь благородной и столь несчастной, и как на явного врага того гнусного преследования, жертвой которого она продолжает быть; все это вещи очень мало преступные, без сомнения, но, тем не менее, совершенно достаточные, чтобы привести в беспокойство правительство, так ревниво относящееся к любви и уважению своих подданных, как наше.

Раньше мне было объявлено приказание немедленно возвратиться в Петербург, с угрозой, в случае неповиновения, всей строгостью законов. Я знал, что меня ожидает по возвращении. Предпочитая свободный воздух Западной Европы удушливой атмосфере России, я уже очень давно имел твердое намерение навсегда покинуть свое отечество. Я ответил решительным отказом, все последствия которого я предвидел; мне не было неизвестно, что, согласно законам, которые управляют моей страной, не подчиняясь правительству, я совершал преступление, почти равное оскорблению величества. Я бы не хотел, Милостивый Государь, жаловаться теперь на указ, который, говорят, ведет к лишению меня дворянства и ссылке в Сибирь; тем более, что из этих двух наказаний на первое я смотрю как на настоящее благодеяние, а на второе, как на лишний повод поздравить себя с тем, что я нахожусь во Франции. <...>

В России нет никакой другой хартии, кроме неограниченной воли Императора; что, соединяя согласно основному закону Империи всю политическую власть в своем лице, свободный от всякого контроля, единый принцип всякой законности в России, — Император не уважает ни привилегий, ни прав, и что, следовательно, он есть как на деле, так и по праву абсолютный хозяин над жизнью и честью всех своих подданных без исключения. Мне многого стоит,



Милостивый Государь, обнаруживать таким образом печальное положение моего отечества; но я считаю иллюзии опасными. Я думаю, что всегда хорошо говорить истину, потому что только в одной истине можно черпать силы, чтобы сражаться со злом, от которого страдаешь. <...>

Не думайте, Милостивый Государь, что демократия возможна на моей родине. Что касается меня, я совершенно уверен, что это единственная вещь, которая там действительно возможна, и что все другие политические формы, какое бы название они ни принимали, будут так же чужды и ненавистны русскому народу, как и теперешний режим. Ибо русский народ, Милостивый Государь, несмотря на ужасное рабство, которое его давит, и несмотря на палочные удары, которые сыплются на него со всех сторон, имеет инстинкты и ход развития совершенно демократические. Он еще вовсе не испорчен, он только несчастен. В его полуварварской природе есть что-то такое энергичное и такое широкое, такое обилие поэзии, страсти и ума, что невозможно не быть убежденным, зная его, что ему предстоит еще совершить великую миссию в этом мире. Все будущее России заключается в нем, — в этой массе людей, такой многочисленной и такой внушительной, которая говорит одним языком и которая будет скоро, я уверен, воодушевлена одним чувством и одною страстью.

Ибо русский народ идет вперед, Милостивый Государь, несмотря на всю злую волю правительства; частичные и очень серьезные возмущения крестьян против своих господ, — возмущения, которые учащаются страшным образом, слишком доказывают это. Не очень далек, может быть, момент, когда они все соединятся в одну великую революцию; и если правительство не поспешит освободить народ, будет много пролито крови. <...>».

В Париже Бакунин тотчас же развил активную деятельность. Его по-прежнему тянуло к социалистам и коммунистам всех мастей. Он встречался с Этьеном Кабе — автором знаменитого утопического романа «Путешествие в Икарию», с Виктором Консидераном — последователем великого утописта Шарля Фурье и после смерти последнего лидером европейских фурьеристов, с христианским социалистом Фелисите Робером де Ламенне и с либеральным социалистом Луи Бланом. Наконец, именно здесь, в Париже, состоялось его личное знакомство с Карлом Марксом. Жизнь Михаила в Париже описана многими мемуаристами. Среди них Авдотья Яковлевна Головачева (1819–1893), бывшая в описываемый период женой И. И. Панаева, а в дальнейшем ставшая гражданской женой Н. А. Некрасова. В 1845 году она оказалась в Париже как путешественница. Наблюдательная женщина и писательница, пользовавшаяся популярностью у невзыскательного читателя, она обратила внимание на ряд таких деталей, какие наверняка прошли бы мимо внимания мужчин. Один из эпизодов касается их общего знакомого В. П. Боткина, неуклюже подшутившего над Бакуниным во время совместного обеда в ресторане.

«Раз за обедом, — рассказывает Панаева, — он [Боткин] стал укорять в попрошайстве Бакунина, который, не получая денег из России, сидел без копейки и занял у него 50 франков. Меня это страшно возмутило, и я высказала, что приятелям Бакунина стыдно не помочь ему, когда они сами тратят по сто рублей на ужины и обеды для первой встречной на улице француженки. Все пришли в изумление от моих слов, привыкнув, что я всегда молчала; но мое терпение лопнуло. На каждом шагу я видела красноречивое противоречие их поступков с проповедуемыми ими возвышенными, гуманными воззрениями на вещи. Но,

главное, все присутствующие знали, что Бакунин потому сидел без копейки, что спас одно русское семейство от голодной смерти; он заплатил долг соотечественника, который давно уже жил в Париже на трудовые гроши, но заболел, пролежал больной два месяца, вследствие чего задолжал, и его хотели посадить в тюрьму; тогда жена и дети должны были бы идти просить милостыню».

Авдотья Панаева неоднократно встречалась с Бакуниным, в том числе и у него на квартире, познакомилась благодаря ему с молодым тогда еще Джузеппе Гарибальди — будущим национальным героем Италии. Перед отъездом Авдотьи Яковлевны в Россию Бакунин попросил ее передать привет Белинскому и какое-то деловое предложение. Вот что рассказывает об этом сама Панаева:

«Бакунин при прощании просил меня сообщить Белинскому об одном проекте, который он задумал. Он часто говорил со мной о Белинском и сожалел, что тот напрасно тратит свои силы и способности, пытаясь втиснуть в узкую рамку литературы свою деятельность, что его могут удовлетворять односторонние литературные интересы.

— Он жестоко ошибается, — говорил Бакунин. — В нем клокочут самые животрепещущие общечеловеческие вопросы. Он преждевременно истлеет от внутреннего огня, который постоянно должен тушить в себе. Непростительно такому даровитому человеку, подобно беспутному моту, расточать свое духовное богатство без пользы. Возможно ли человеку свободно излагать свои мысли, убеждения, когда его мозг сдавлен тисками, когда он может каждую минуту ожидать, что к нему явится будочник, схватит его за шиворот и посадит в будку! Право, смешно и даже обидно смотреть, что человек при такой обстановке лезет из кожи, дурачит самого себя надеждами, что может что-нибудь сделать для общей пользы. Ужасная минута ожидает Белинского, когда он, искалеченный физически и нравственно, вдруг прозрит, что его деятельность, над которой он столько лет медленно изнывал, гроша не стоит!

Когда мы вернулись в Петербург, Белинский пришел к нам в тот же вечер. Я нашла в нем большую перемену: он похудел, сгорбился и сильно кашлял; какая-то апатия появилась в нем. Мне удалось только на другое утро сообщить ему то, что просил меня передать Бакунин. Белинский выслушал меня и сказал:

— Я знаю без него, что истлею преждевременно при тех условиях, в которых нахожусь; но все-таки не намерен осуществить его план. Между ним и мной огромная разница: во-первых, он космополит в душе; во-вторых, с своим знанием языков и энциклопедическим образованием он может чувствовать твердую почву под своими ногами, где бы он ни очутился. А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы и от моей деятельности, в которую я вложил свою душу? Я также прекрасно вижу, что не могу принести той пользы, к которой порываюсь, но лучше сделать мало, чем ничего!.. Это он зафантазировался! Ведь это было бы одно и то же, что захотеть развести в Италии березовую рощу, привезти отсюда с корнями большие деревья и посадить на плодотворную почву. Ну, что бы вышло? Завяли бы все деревья! Такова и его фантазия о колонии русских в Париже. Бакунин — блестящий теоретик и слишком увлекается своими отвлеченными фантазиями. Он воображает, что все делается, как в сказке: окунулся Ванька-дурак в чан и

вынырнул оттуда красавцем, весь в золоте, и зажил царем!»

И все же Михаилу и Виссариону суждено было встретиться еще раз. Это было в июле 1847 года как раз в Париже, куда Белинский заехал после лечения в Германии. Встреча происходила в одном из парижских ресторанов, облюбованных русскими для общения и праздного времяпрепровождения.

Вообще русские вели в Париже неупорядоченный и разгульный образ жизни: направо и налево сорили деньгами (пока таковые не заканчивались), посещали не только музеи и театры, но и кафешантаны, танцевальные залы, злачные места, где по вечерам поджидали кавалеров очаровательные французские гризетки, и, наконец, часами (а то с самого утра и до самого вечера) горячо дискутировали за стаканом вина или бокалом шампанского на острые политические темы — непозволительная роскошь в оставленной ненадолго России. В одном из парижских писем к Эмме Гервег, покинувшей на время русских друзей, Бакунин спрашивает: «<...> Рассказывать ли Вам обо всем, о чем мы болтали в этот вечер? Разве Вы не устали от русских и разве Вам не надоело это бесплодное воодушевление, эта платоническая любовь к свободе, прекрасные мечтания, уносящие в голубую высь всех этих симпатий и стремлений, которые только там далеко, в Турции и в Азии, и то едва ли через два-три столетия, найдут свое осуществление?»

\* \* \*

Понятно, что нормальный, здоровый, к тому же интересный, полный сил и энергии мужчина не мог не обращать внимания на окружавших его хорошеньких женщин (и, что вполне естественно, избежать внимания с их стороны). Об одной такой, имя которой тщательно скрывал, он написал брату Павлу в марте 1845 года:

«<...> Я люблю, Павел, я люблю страстно. Не знаю, могу ли я быть любимым так, как я этого хотел бы, но я не прихожу в отчаяние. Во всяком случае я знаю, что ко мне питают большую симпатию. Я должен и хочу заслужить любовь той, которую я люблю, любя ее религиозно, то есть деятельно. Она находится в самом ужасном и самом позорном рабстве, и я должен освободить ее, борясь с ее угнетателями и возжигая в ее сердце чувство собственного достоинства, пробуждая в ней влечение к свободе и потребность ее, инстинкты возмущения и независимости, вызывая в ней самой сознание своей силы и своих прав. Любить — это значит желать свободы, полной независимости другого; первое проявление истинной любви — это полное освобождение предмета любви. Истинно любить можно только совершенно свободное существо, независимое не только от всех других, но и — и даже главным образом — от того, кто его любит и им сам любим. Вот мое исповедание веры, политическое, социальное и религиозное, вот сокровенный смысл не только моих политических действий и стремлений, но в меру сил моих и моей частной и личной жизни. Ибо то время, когда эти две стороны деятельности могли отделяться одна от другой, давно уже прошло. Теперь человек хочет свободы во всех значениях и приложениях этого слова или не хочет ее совсем. Любя, желать зависимости того, кого любишь, значит любить вещь, а не человека, ибо человек отличается от вещи только свободой; если бы любовь включала в себя и зависимость, то она была бы вещью самой опасною и самой отвратительною в мире, ибо она была бы тогда

неиссякаемым источником рабства и отупения для человечества» (выделено мной. — В. Д.).

В свое время историки потратили немало усилий, чтобы выяснить, кто же на самом деле была эта «таинственная незнакомка». Высказывалось даже более чем экстравагантное предположение, что это была Жорж Санд. Действительно, в Париже Бакунин познакомился с известной писательницей, давним поклонником которой он уже являлся много лет. Представил Мишеля Авроре Дюпен (ее настоящее имя) и неразлучному с ней Шопену Арнольд Руге. (Надо полагать, Шопен был приятно удивлен, когда Бакунин заговорил с ним по-польски.) Между будущим «апостолом свободы» и «пророчицей женской эмансипации» сложились дружеские отношения, однако вряд ли они перешли в нечто большее (хотя французскую писательницу всегда притягивали импозантные мужчины). Те же, кто высказывал предположение о их более близких отношениях, в качестве аргумента приводили тот факт, что первой и единственной, кого письменно известил Бакунин о своей высылке из Парижа, была именно Жорж Санд:

“ «14 декабря 1847 г.

Париж, Улица Сен-Доминик, 96. Предмесье Сен-Жермен.

Madame! <...> Я сию минуту получил приказание покинуть Париж и Францию за то, что нарушил общественную тишину и спокойствие.

Позвольте же, м[илостивая] г[осударыня], прежде чем уехать, выразить Вам мою признательность за благосклонность и доброту, которые Вы мне всегда оказывали, верьте моей преданности, глубокой и неизменной, и сохраните хотя небольшую память о человеке, который Вас почитал прежде даже, чем познакомился с Вами, ибо Вы бывали для него часто и в самые печальные минуты его жизни утешением и светом. Мой адрес, если Вы сообразовите отвечать мне, следующий: Париж, улица Бургонь, № 4, предместье Сен-Жермен, г. Рейхелю, профессору музыки, для передачи г. Бак[унину]».

Не все письма Бакунина к Жорж Санд, относящиеся к данному периоду, сохранились. По крайней мере известно, что одно сугубо личное письмо Михаила, адресованное «лучшей великой женщине, какая только есть на свете» (как ее называли при жизни), в феврале 1849 года передавала из рук в руки Полина Виардо — подруга Ивана Тургенева.

Большинство биографов Бакунина все же сошлись на мнении, что страстным парижским увлечением Михаила следует признать Иоганну Пескатины, жену его друга еще по жизни в Цюрихе Паоло Пескатины — умеренного итальянского республиканца, доктора права и певца-любителя.

Впрочем, имеется еще одна кандидатура на роль парижской возлюбленной — Мария Полуденская, сестра университетского товарища Герцена Николая Сазонова (в «Былом и думах» ему посвящена отдельная глава) и знакомого Бакунина еще по диалектическим баталиям в московских салонах. Мария, незадолго до того похоронившая мужа (также общего знакомого Бакунина и Герцена), приезжала к брату в Париж, потом некоторое время находилась в Брюсселе, куда переехал высланный из Франции Михаил. Позже, при его аресте была конфискована пачка любовных писем, полученных от Марии Полуденской; по

накалу страсти они мало чем отличаются от аналогичных писем Александрины Беер. Письма эти многие десятилетия пролежали в полицейском архиве, пока не стали достоянием историков...



Ностальгия по прошлому и тоска по братьям и сестрам время от времени давали себя знать очень остро. 1 мая 1845 года Бакунин пишет друзьям из Парижа: «Милые друзья! Как часто я вспоминаю о вас! Теперь утро. Я сейчас только проснулся. Меня разбудили звуки чудной фантазии. В соседней комнате Рейхель играет на фортепьянах, чистый утренний воздух освежил мою комнату и наполнил ее весенним благоуханием цветов, стоящих у меня на окне. Все это очаровало меня и напомнило мне то прекрасное лето в Прямухине, которое началось приездом моим к вам с Лангером и Полем (в июне 1837 года. — В. Д.); наши общие прогулки, чтение, священный восторг, наполнявший наши души и сливавший жизни наши в одну жизнь, в одно трепетное ожидание чего-то великого, в одно общее действие для нашего взаимного освобождения. Боже мой! сколько времени прошло с тех пор! Как все переменилось! Мы разлучены, оторваны друг от друга навсегда, но воспоминания живы во мне, они не лишились силы волновать мою душу и проникать ее любовью и верою. Вы живете во мне, я не изменил старым верованиям и привязанностям, прошедшее для меня священно; оно присутствует во мне как живой источник силы и развития; опытность, трудности, препятствия, которые я так часто встречал на пути своем, не сломили [ни] моей воли, ни моей веры! Я не преклонился перед так называемыми необходимостями действительного мира и враждую с ними по-прежнему и по-прежнему надеюсь победить их; моя вера, безусловная вера в гордое величие человека, в его святое назначение, в свободу как единственный источник и единственную цель его жизни осталась непоколебима, не только что не уменьшилась, но увеличилась, окрепла и расширилась в борьбе. “Все или ничего” — вот мой девиз, мой воинственный клик, и я ни на шаг не отступлю от своих требований.

Вы видите, друзья, я не переменился. А вы? Я боюсь спрашивать. Ваше грустное заточение, — вы окружены таким пошлым миром, заключены в такие тесные границы; сердца ваши не изменились, не могли измениться, они так же благородны, так же полны любви, как и прежде, вы не можете перестать и никогда не перестанете любить; но вы, может быть, устали, утратили веру; уныние, может быть, овладело вами, и вы ничего более не ожидаете для себя? О, друзья, если б я был с вами, я снова пробудил бы вас к жизни! Зачем меня нет с вами? Помните, как я переводил Беттину (популярные в то время в Европе беллетризированные мемуары Беттины Брентано «Переписка Гёте с ребенком». — В. Д.) ночью в маленьком саду, на гроте, при свете фонаря! Помнишь, Павел, как мы с тобой укрывались от июльского жару под гротом, как мы занимались посреди воды на камешках, а Илья в доказательство своей отваги бросился в чан, наполненный ключевой водою, и пробыл там до тех пор, пока совсем посинел? Помнишь, Алексей, как мы с тобой вечером сидели у моста на бревнышке и говорили о том, как к нам вдруг явятся Станкевич и все великие люди прошедшего и как мы с ними будем разговаривать? Помните, сестры, как в конце лета мы вместе гуляли по нашей любимой лопатинской дороге? Это было вечером, уж было темно; Саша в белом платье стала на забор и представляла привидение, а я, весь черный, в виде

черта крался к ней. Помните то чудное, теплое, свежее утро, когда мы вместе читали Беттину, сидя у забора подле маленькой рощи, и Варенька прибежала с известием, что приехал Дьяков? Борьба за ее освобождение должна была начаться; мы были все так торжественно настроены, и вдруг проехала бабушка и дала нам выборгских кренделей. Помните, как весною, перед отъездом Вареньки за границу, в страстную неделю, мы разводили огонь в маленькой роще, и больная Любаша приехала к нам на дрожках? Этим кончается ряд свежих, живительных воспоминаний, — после этого все было тяжело! В моей душе еще много других воспоминаний; эти воспоминания — мое лучшее сокровище: они хранят и поддерживают меня и связывают меня с вами неразрывными узами. <...>».

Упомянутый в письме Адольф Рейхель — «истинный и единственный» друг Мишеля (так он назовет его в своей «Исповеди», написанной для царя). Они познакомились еще в Дрездене, но по-настоящему сблизились в Швейцарии. С тех пор их дружба не прерывалась до самой смерти (Рейхель с женой спустя более тридцати лет ухаживали за Бакуниным, умиравшим в Бернской больнице для бедных). Друзья вместе выехали из Швейцарии в Париж и долгое время жили в одной квартире. Профессиональный музыкант и немного композитор Рейхель с утра до вечера музицировал на фортепиано. Михаилу же такая жизнь доставляла подлинное удовольствие. Вскоре, однако, он осознал, что вот уже почти два года он не получал из Прямухина писем. В отчаянии он пишет письмо сестре Татьяне:

«<...> Пять лет прошло с тех пор, как мы расстались! Братья и сестры успели перемениться; они сделались благоразумными, действительными людьми, и мать их после долгих трудов и долгих страданий сделалась наконец счастливой матерью! Какая же может оставаться связь между ими и мною? Я должен быть им благодарен, если они меня только не проклинают за беспокойство за совершенно пустое и бесплодное волнение, внесенное мною некогда в жизнь их; без него они без всякого сомнения были бы уже давно готовыми и счастливыми людьми. Я был единственною преградой между ими и любящим сердцем матери, — преграда эта к счастью исчезла, и единомыслие, единокровие восстановилось между счастливыми детьми и торжествующею родительницею! Я не переменялся — года и опыт не только что не разрушили моих старых верований, но укрепили и расширили их во мне; наши пути поэтому совершенно различны, с каждым днем мы будем расходиться более и более, а потому очень естественно, что они начинают позабывать и скоро совсем позабудут меня. Я ж с своей стороны, убедившись наконец в этом, пожелаю им один раз навсегда счастья и также постараюсь более не думать об них, хотя мне это будет и несколько труднее, чем им, потому, во-первых, что я один, в то время как они более или менее вкушают семейное счастье, а во-вторых, потому, что во мне, по-видимому, и наперекор всем, упрекающим меня в противном, более любви, верности и памяти сердца, чем во всех них вместе.

Итак, я решился бы наконец сказать себе, что у меня нет более ни сестер, ни братьев, если бы между ними не было тебя и Павла, мой милый друг. Но в вас двух я не могу сомневаться; для этого вы должны бы были сами сказать мне, что вы перестали любить меня, да и тогда бы я не поверил вам, потому что это невозможно, потому что я слишком глубоко чувствую противное. Вот почему я обращаюсь к тебе и единственно только к тебе, моя добрая, единственная сестра. Павла нет с тобой, а другие?.. Говоря с другими, я чувствую, что я говорил бы холодно и несвободно. Другим до меня нет дела, тебе ж мое письмо доставит

хоть одну отрадную минуту... оно напомнит тебе, что далеко, далеко от тебя живет человек, который страстно любил тебя и который до сих пор хранит память твою как святыню.

Милая Танюша, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что тебе грустно и тяжело жить, что дни твои протекают теперь в глубокой и безмолвной тоске, что страстное сердце твое, измученное неудовлетворенною потребностью любви и жизни, заключилось в самом себе и бесконечно страдает в этом гордом и неприступном одиночестве; мне кажется, что на развалинах нашего старого прямухинского мира, юношеских верований и ожиданий, брошенных и позабытых другими, ты осталась одна, и что у тебя нет человека, нет друга, которому бы ты хотела, которому бы ты могла передать свою печаль. Милая, если догадки мои справедливы, вспомни, что у тебя есть еще один верный, неизменный друг, который не только что не утратил способность понимать тебя, но в котором она усилилась опытом и жизнью, направленною к единой благородной цели. Да, Танюша, я чувствую, что я теперь более чем когда-нибудь способен быть твоим истинным другом. Как бы я ходил за тобой, если б мы были вместе, как бы старался разогреть твое сердце. Милый друг, дай мне твое горе, — я имею на него неотъемлемое право. Скажи мне живое слово, дай волю твоему сердцу, твоим чувствам. Пиши мне, ведь это не невозможно, посылай с кем-нибудь (а не по почте) свои письма. <...> Повторяю еще раз, я не могу сомневаться в твоей любви. Милый друг, с некоторого времени у меня есть фантазия, — ведь для людей с волею и с любовью ничто не невозможно, — может быть, через несколько лет мы встретимся в Париже и будем жить вместе. Подумай хорошенько об этом, — ты хоть под конец своей жизни, хоть один раз вздохнешь широко и свободно! и мы еще раз увидимся! Я ничего не пишу о себе, я прежде хочу снова услышать твой голос, тогда я много, много скажу тебе, а теперь прощай, помни, люби меня и верь в горячую и неизменную любовь твоего брата и друга».

Неожиданный, прямо скажем, душевный поворот (точнее — переворот), если сравнить это письмо с ранее приводимым прощальным посланием, написанным перед отъездом за границу. Но вскоре политические события во Франции и в Европе отодвинули в небытие его душевные муки и терзания...

В марте 1847 года в Париж приехал Герцен, наконец-та-ки вырвавшийся из России. На его глазах происходило сближение Бакунина с Прудонем. Пьер Жозеф Прудон (1809-1856) — заметная величина во французской истории и общественной мысли. Сын неграмотного крестьянина и гениальный самоучка, по профессии типографский рабочий, он прославился на всю Европу острой политической публицистикой, был депутатом Национального собрания, подвергался травле и преследованиям, дважды заключался в тюрьму за оскорбление властей и умер в нищете, такой же, с какой начиналась его трудная жизнь. В предреволюционные годы на всю Европу прогремела его книга «Что такое собственность? Изыскания о принципе права и правительственной власти», где красной нитью проведена идея, понятная любому обездоленному: «Собственность есть кража».

Афоризм сей, приписываемый обычно Прудону и сделавшийся благодаря его книге крылатой политической фразой, на самом деле был известен давным-давно. Он имел хождение уже во времена Великой французской революции, приписывался одному из лидеров жирондистов Жану Пьеру Бриссо (1754-1793), но использовался разными политиками-популистами в основном в антифеодальных выступлениях. Сам Прудон назвал

этот лозунг «набатов 1793 года» — апогея якобинской диктатуры. Однако исследователи-буквоеды установили, что высказывание «Собственность есть кража (или воровство)» уже в VI веке встречалось в творениях одного из христианских «отцов церкви» Василия Великого, а в XIII веке ту же самую мысль высказывал раввин Иегуди бен Тимон.

Заслуга же Прудона состояла в том, что он еще раз доказал эту в общем-то бесспорную истину на современном материале. Его прозрачная, как стеклышко, мысль была понятна даже неграмотным рабочим и крестьянам: любая собственность (а также извлекаемые из нее рента и прибыль), приобретенная нетрудовым путем, служит для эксплуатации человека человеком. А для увековечения такого рабского, по существу, положения создан и процветает на протяжении тысячелетий институт государства. «Как государственная религия есть подавление сознания, — писал Прудон, — так и административная централизация есть кастрация свободы». Чтобы перейти к справедливому общественному строю, основанному на равенстве, необходимо прежде всего «упразднить современное государство, заменив его свободным союзом свободных людей, связанных между собой свободным договором. Ничем, кроме соблюдения условий такого договора, свободный человек с остальными такими же свободными людьми не связан и никому ничем не обязан!»

Отсюда и проистекает так называемый анархизм Прудона, ставящий его в один ряд с другими антигосударственно настроенными мыслителями. Эта антигосударственная позиция выражена во многих его работах, в частности в трактате «Что такое собственность?»: «Что касается меня, я поклялся и останусь верен своему разрушительному делу, буду искать истину на развалинах старого строя. Я ненавижу половинчатую работу; и вы можете мне верить, читатель: если я осмеливался занести руку на новые заветы, я не ограничусь уже только тем, что сниму с него крышку. Нужно развенчать таинства святая святых несправедливости, разбить скрижали старого завета и бросить все предметы старого культа на съедение свиньям (выделено мной. — В. Д.)».

Для налаживания справедливого обмена между работниками ассоциаций, основанных на началах взаимопомощи, Прудон предлагал ряд конкретных экономических шагов, некоторые из них (организация народного банка, создание «народных денег» и др.) безуспешно пытался осуществить на практике. Популярность гениального самоучки во Франции была фантастической. Достаточно сказать, что и спустя пятнадцать лет после его смерти при избрании депутатов Парижской коммуны самая большая фракция оказалась состоящей из прудонистов. У него всегда было бесчисленное множество врагов — от осатанелых буржуа, неоднократно засаживавших его в тюрьму, до бывшего друга Маркса, написавшего в ответ на один из главных трудов Прудона «Философия нищеты» язвительный многостраничный памфлет под хлестким названием — «Нищета философии».

Герцен же характеризовал Прудона так: «В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта — страшная сила Прудона; он такой же поэт диалектики, как Гегель — с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнул в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий. Прудоном начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. <...> Говорят, что у Прудона



германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; в нем тот родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро... даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля... <...>».

Дружба двух будущих «отцов анархии» произвела на Герцена неизгладимое впечатление. Его воспоминания и сегодня читаются так, как будто в них речь идет о только что увиденном и услышанном: «Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, в Rue de Bourgogne. Прудон часто приходил туда слушать Рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля — философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всенощные бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фогт, живший тоже в Rue de Bourgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем, им обоим надобно было идти к Jardin des Plantes (Ботанический сад. — В. Д.); его удивил, несмотря на ранний час, разговор в кабинете Бакунина; он приотворил дверь — Прудон и Бакунин сидели на тех же местах перед потухшим камином и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор».

По свидетельству другого мемуариста — П. В. Анненкова, также жившего тогда в Париже, — Прудон специально для встречи с Бакуниным приглашал к себе знакомых и полушутя предупреждал их: «Я вам покажу чудище по сжатой диалектике и по лучезарной концепции сущности всяческих идей». Ахиллесовой пятой самоучки Прудона было незнание немецкого языка, хотя он самостоятельно освоил древнегреческий и древнееврейский. Отсюда невозможность знакомиться с корифеями немецкой диалектики на языке оригинала, а французские переводы страдали упрощениями и смысловыми искажениями[9]. Поэтому Прудон был особенно благодарен другу Мишелю за то, что тот терпеливо разъяснял ему глубины гегелевской диалектики.



Между тем события развивались своим чередом. Бакунин давно уже искал контакта с польскими эмигрантскими кругами, лелея надежду объединить российские революционно настроенные силы с польским освободительным движением. Еще в Брюсселе он познакомился с эмигрантом Иоахимом Лелевелем (1786–1861) — патриархом, лидером и идеологом польского национально-освободительного движения. В начале 1830-х годов, в Париже, он выступил с воззванием «К братьям русским», где призывал к совместной борьбе против царского деспотизма, за что был выслан из Франции в Бельгию. Позже Бакунин рассказывал: «В Брюсселе я познакомился с Лелевелем. Тут в первый раз мысль моя обратилась к России и к Польше; бывши тогда уж совершенным демократом, я стал смотреть на них демократическим глазом, хотя еще неясно и очень неопределенно: национальное чувство, пробудившееся во мне от долгого сна, вследствие трения с польскою национальностью, пришло в борьбу с демократическими понятиями и выводами. С Лелевелем я виделся часто, расспрашивал много о польской революции, о их намерениях, планах в случае победы, о их надеждах на будущее время, — и не раз спорил с ним, особенно же на счет Малороссии и Белороссии, которые по их понятиям должны бы были

принадлежать Польше, по моим же, особенно Малороссия, должны были ненавидеть ее, как древнюю притеснительницу. <...>».

К Бакунину польские эмигранты относились поначалу сдержанно. Лед и излишнюю подозрительность в их отношениях растопила пламенная речь, произнесенная им 29 ноября 1847 года на банкете, устроенном в честь годовщины польского восстания 1830–1831 годов. Речь Бакунина была напечатана в оппозиционной газете, в ней содержалась программа объединения русских и польских революционных сил под лозунгом «За нашу и вашу свободу!». Вот несколько наиболее важных фрагментов из пространной речи:

«Господа! Настоящая минута для меня очень торжественна. Я русский и прихожу на это многочисленное собрание, которое сошлось, чтоб праздновать годовщину польского восстания, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова, угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши; — я прихожу на него, господа, одушевленный глубокою любовью и непоколебимым уважением к моему отечеству.

Мне неизвестно, насколько Россия не популярна в Европе. Поляки смотрят на нее, не без основания, быть может, как на одну из главных причин их несчастий. Люди независимые в других странах видят в столь быстром развитии ее могущества опасность, постоянно растущую, для свободы народов. Повсюду имя русского является синонимом грубого угнетения и позорного рабства. Русский, во мнении Европы, есть не что иное, как гнусное орудие завоевания в руках ненавистнейшего и опаснейшего деспотизма... Господа, не для того, чтоб оправдывать Россию от преступлений, в которых ее обвиняют, не для того, чтоб отрицать истину, взошел я на эту трибуну. Я не хочу пробовать невозможное. Истина становится более, чем когда-либо, нужною для моего отечества.

Итак, да — мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданном в его капризах, неограниченном в действии. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов. Нельзя вообразить положение более несчастное и более унижительное. <...>

Вы видите, господа, — я вполне сознаю свое положение и все-таки я являюсь здесь как русский, — не несмотря на то, что я русский, но потому что я — русский. Я прихожу с глубоким чувством ответственности, которая тяготеет на мне, равно как и на всех других личностях из моего отечества, так как честь личная нераздельна от чести национальной, без этой ответственности, без этого внутреннего союза между нациями и их правительствами, между личностями и нациями не было бы ни отечества, ни нации. (Аплодисменты.) <...>

Для меня, как для русского, это годовщина позора; да, — великого позора национального! Я говорю это громко: война 1831 года была с нашей стороны войной безумной, преступной, братоубийственной. Это было не только несправедливое нападение на соседний народ, это было чудовищное покушение на свободу брата. Это было более, господа: со стороны моего отечества это было политическое самоубийство. (Аплодисменты.) Эта война была предпринята в интересе деспотизма и никоим образом не в интересе нации русской, — ибо

эти два интереса абсолютно противоположны. Освобождение Польши было бы нашим спасением; если бы вы стали свободны, мы бы стали также; вы не могли бы ниспровергнуть пут царя польского, не поколебав трона императора России... (Аплодисменты.) Мы дети одной породы, и наши судьбы нераздельны, наше дело должно быть общим. (Аплодисменты.)

Вы это хорошо поняли, когда вы написали на ваших революционных знаменах эти русские слова: “За нашу и за вашу свободу!” Вы это хорошо поняли, когда в самый критический момент борьбы вся Варшава собралась в один день под влиянием великой братской мысли отдать честь публично и торжественно нашим героям, нашим мученикам 1825 г., Пестелю, Рылееву, Муравьеву-Апостолу, Бестужеву-Рюмину и Каховскому (аплодисменты), повешенным в Петербурге за то, что они были первые граждане России! <...>

Нет, господа, народ русский не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Потому что, если бы счастье было возможно для него в той мерзости, в которую он погружен, это был бы самый подлый, самый гнусный народ в мире. Нами тоже управляет иностранная рука, монарх немецкого происхождения, который не поймет никогда ни нужд, ни характера русского народа и правление которого... совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной, — патриархальной, так сказать, — которою пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет, по крайней мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено. Нам почти запрещено жить, потому что всякая жизнь предполагает известную независимость, а мы только бездушные колеса в этой чудовищной машине притеснения и завоевания, которую называют русской империей. Но, господа, — предположите, что у машины есть душа, и, быть может, вы тогда составите себе понятие об огромности наших страданий. Мы не избавлены ни от какого стыда, ни от какой муки, и мы имеем все несчастья Польши без ее чести. Без ее чести, сказал я, и я настаиваю на этом выражении для всего, что есть правительственного, официального, политического в России.

Нация слабая, истощенная, могла бы нуждаться во лжи для поддержания жалких остатков существования, которое угасает. Но Россия не в таком положении, слава богу! Природа этого народа попорчена только на поверхности: сильная, могучая и молодая, — ей только надо опрокинуть препятствие, которым смеют ее окружать, — чтоб показаться во всей первобытной красоте, чтоб развить все свои неведомые сокровища, чтоб показать наконец всему свету, что русский народ имеет право на существование не во имя грубой силы, как думают обыкновенно, но во имя всего, что есть наиболее благородного, наиболее священного в жизни народов, во имя человечности, во имя свободы.

Господа, Россия не только несчастна, но и недовольна, — терпение ее готово истощаться. Знаете ли вы, что говорится на ухо даже при дворе в Петербурге? Знаете ли, что думают приближенные, фавориты, даже министры и литераторы? Что царствование Николая похоже на царствование Людовика XV. Все предчувствуют грозу, — грозу близкую, ужасную, которая пугает многих, но которую нация призывает с радостью. (Шумные аплодисменты.) <...>

Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не сможет противиться нашему общему действию. Примирение России и Польши — дело огромное и достойное того, чтоб ему отдаться всецело. Это... освобождение всех славянских народов, которые стонут под игом иностранным, это, наконец, падение, окончательное падение деспотизма в Европе. (Аплодисменты.)

Да наступит же великий день примирения, — день, когда русские, соединенные с вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получают право запеть вместе с вами национальную песню польскую, гимн славянской свободы. “Jeszcze Polska nie zginęła!” («Еще Польша не погибла...» — первая строка национального польского гимна. — В. Д.)».

Русское посольство во Франции не на шутку всполошилось. Посланник граф Н. Д. Киселев решил действовать изо щренно и наверняка: официально потребовать высылки строптивного эмигранта из Парижа и одновременно распу стить слух о том, что Бакунин якобы является агентом царского правительства. Клевета достигла своей цели, многие поляки стали относиться к Бакунину с подозрением. Но на этом профессиональный интриган Киселев не остановился — в бельгийское министерство иностранных дел была направлена депеша с гнусной дезинформацией: отставной прапорщик Бакунин украл в России значительную сумму денег и скрылся от правосудия. Киселев явно рассчитывал на выдачу соотечественника как уголовного преступника. Трудно теперь гадать, как могли бы дальше развиваться события. Но начавшаяся общеевропейская революция в одночасье поломала планы не одного только русского посольства...

---

Версия #2

██████████ ██████████ создал 30 июня 2025 18:52:29

██████████ ██████████ обновил 30 июня 2025 19:54:43